

Д. С. Мережковский

Лица

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М52

М52 **Мережковский Д.С.**
Лица / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 54 с.

ISBN 978-5-4241-2341-2

Дмитрий Сергеевич Мережковский - известный русский и европейский поэт, писатель и философ Серебряного века. Один из основоположников русского символизма, он первым ввел в литературу жанр историософского романа.

ISBN 978-5-4241-2341-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Д.С. Мережковский, 2021

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
ЛИЦА

ИОСИФ ПИЛСУДСКИЙ

Вы хотите, чтобы я рассказал мое впечатление от беседы с Начальником Государства. Боюсь, что это трудно будет сделать. Вот одна из тех минут, когда я чувствую себя плохим рассказчиком, плохим писателем. Да ведь и всегда главное в живой беседе, в слове изреченном — неизреченно; это главное есть внезапное чувство, волнение, улыбка, взгляд, молчание, молния, музыка. А как изобразить молнию, рассказать музыку?

Что же касается до деловой стороны беседы, может быть, важной и обильной последствиями, то я не хочу касаться ее, во-первых, потому, что не знаю, имею ли на то право, а во-вторых, потому, что я обращался к Иосифу Пилсудскому не как политический деятель к Начальнику Государства, а как человек к человеку.

Мне всегда казалось, что современная религия непоклонения героям, неблагоговения перед великим, оплевания святого, неподчинения духовным властям, детского, рабского бунта есть главный источник современного хамства. Моя религия — противоположная. Ее завет гласит: нет на земле ничего более достойного поклонения, чем отблеск лика Божьего в лице человеческом, в Герое. Герой все еще, и в наши дни, как было древле, как будет всегда, есть непреложное Богоявление, Теофания.

Когда он вошел в комнату, на меня «повеяло веяние тихого ветра», о котором говорится в Третьей Книге Царств; я сразу почувствовал: да, это Он, Герой, *ens realissimum*, «существо реальнейшее», как выразился Ницше о Наполеоне.

Я узнавал и не узнавал этот образ, повторяемый в изображениях бесчисленных: небольшую, коренастую фигуру Солдата и Рабочего, лицо то усталое, почти старое, то бессмертно юное; крутой, нависший, выпуклый лоб, изборожденный глубокими поперечными морщинами, как твердый камень — резцом ваятеля; крепко сжатые губы «великого молчальника», и под упрямо насупленными, торчащими рыжими бровями странно светлые глаза, то затуманенные, то опрозраченные, с неизъяснимым взором, смотрящим внутрь, ясновидящим. Я знал, что образ этот будет изваян, «вековечнее меди», резцом великого ваятеля, Истории.

Я начал говорить и не мог. Кажется, главное в волнении моем была неожиданность, удивление — удивление простоты. Я думал: будет величаво, торжественно, — и вот как просто.

В Бельведерском дворце — простая, тихая комната; простое, тихое небо в открытом окне, туманно-серое, над туманно-зелеными Лазенковскими кущами. И он — тихий, простой, как небо.

Я начал говорить по-французски. Он тотчас же свел на русскую речь.

— Вам удобнее так? — спросил с милой улыбкой.

Заговорил тихо — и я сразу утих. Точно век знакомы. Какая между нами бездна и какая близость! Друг. Брат.

О чем же мы говорили? Я бы не мог передать в кратких словах содержания полуторачасовой беседы и, если бы мог, повторяю, не хотел бы. Попытаюсь отметить только отдельные точки, звуки этой музыки, искры этого огня.

Нечаянною радостью было для меня то, что он все понимал с полуслова, с намека, с одного взгляда, улыбки, молчания.

Кажется, современные люди погибают не столько от глупости, недостатка ума, сколько от недостатка воображения, того сочувственного воображения сердца, которое в сердце вещей заглядывает глубже, чем самый зоркий ум. Я не сомневаюсь, что если бы люди, не те или другие, а просто люди, обитатели планеты Земля, могли вообразить то, что сейчас происходит на шестой части этой планеты, в России, то они этого ни минуты не вынесли бы и вдруг, все вместе кинулись бы и прекратили бы этот невообразимый ужас.

Вот этим-то даром воображения сердечного, даром «интуиции», «ясновидения», который Мицкевич считает главным даром славянского племени, Иосиф Пилсудский обладает в такой степени, как никто из современных политиков.

— Я — романтик и реалист в одинаковой степени, — определил он себя самого в беседе со мной как нельзя лучше.

Когда я рассказывал ему о большевицком ужасе, у меня было такое чувство, что он все уже знает, видит отсюда так же, как я это видел сам.

К моему рассказу прибавил только две черточки. Анекдот о бердичевском буржуе, спасенном от большевиков, который обновил галстух: «Подумайте только, подумайте, ведь два года не носил галстуха!» — чуть не заплакал несчастный. И еще рассказ об украинских кладбищах, о внезапно колосящихся жатвах новеньких крестиков по уходе большевиков.

— Но есть же и у России дно. Когда-нибудь дойдут до дна — провалятся...

— Бойтесь русского дна, господин Маршал: это дно бездны, а бездна втягивает. Бойтесь русского дна за Польшу и за Европу.

Он опять помолчал, и я понял что он так же видит дно, как я.

Речь зашла о реставрационном, погромном тыле Колчака, Юденича, Деникина.

— С русской реставрацией у Польши никакого соединения быть не может. Лучше все, чем это. Лучше большевизм! — воскликнул он с грозным гневом, и глаза его сверкнули.

Он говорил со страшною силою. Я почувствовал, что тут крепко, не потрясая. Я радовался; но как мне было уверить его, чем доказать, что не я один радуюсь, не я один чувствую так же, как он, а вся Россия?

— Что же нам делать, нам, полякам и вообще европейцам? — продолжал он спокойнее. — Нельзя от людей требовать гениальности; большинство — люди среднего здравого смысла; на них и опирается всякая политика. Они верят тому, что видят, а видят они только две России — старую, царскую, и новую, большевицкую. Надо было сделать выбор между этими двумя Россиями, потому что третьей нет...

— Есть.

— Где же, где? Мы только ее и хотим и ищем. Укажите же, где она?

Что мне было ответить, на что указать? На русский Париж, Лондон, Берлин? Кого назвать? Миллюкова, Маклакова, Сазонова, Керенского?

Я вспомнил «колосящуюся» жатву новеньких крестиков и ответил:

— Третья Россия не здесь, а там, в России.

— Вы это знаете? Верите?

— Верю.

Мне стало страшно: что, если он покачает головой и скажет тихо и просто: «А я не верю». Но он отвернулся молча и посмотрел в открытое окно простыми,

тихими глазами на простое, тихое небо. И я вздохнул свободнее: пусть еще не верит — может поверит.

Тут началась главная часть беседы — о том, что надо делать для «третьей России». Этого повторять не буду, скажу одно: что бы ни говорили о нем, Иосиф Пилсудский не враг России. У него нет камня за пазухой. Это я говорю для всех, а для меня он больше, чем то, что я о нем сейчас говорю. Хотя бы сорок тысяч Миноров, Зензиновых, Керенских уверяли меня, что в таком разговоре я «предал» Россию, я не поверю им.

— Я не знаю, кто кому сейчас нужнее, вы нам, или мы вам, — воскликнул я в пылу беседы.

Теперь, издали, я понимаю, что это могло показаться почти дерзким: так мы слабы, так «не существуем», по видимости. Но тогда это было не дерзко, а только искренне. И, кажется, он понял, что за видимостью есть иное, большее.

Он много расспрашивал о генерале Брусилове и о новом «патриотическом» духе красной армии. И опять понял то, что так трудно, почти невозможно понять человеку нерусскому — самую бессмысленную из русских бессмыслиц — Интернационал «национальный» русских солдат-коммунистов, героев «похабного» Брестского мира, идущих помирять под знаменами Бронштейна-Троцкого за Святую Русь. Понял, что и это возможно в «стране безграничных возможностей». Деловое острие беседы и заключалось в том, как отразить эту опасность, может быть, для Польши и России величайшую. Что тут уже Россия и Польша — вместе, он тоже понял.

Я назвал Бориса Савинкова, как единственного сейчас русского человека в Европе, способного что-нибудь сделать для «третьей» России. Мне трудно было говорить о Савинкове: он мой друг многолетний, человек слишком мне близкий. Но только что я заговорил, как почувствовал, что собеседник мой думает о нем почти так же, как я.

Вот, кажется, все, что я могу сообщить о деловой части беседы. Я сознаю, как от этих умолчаний тускнеют мои впечатления и отраженный в них образ. Но я надеюсь, что когда-нибудь еще вернусь к нему: забыть его нельзя — он в памяти моей, в сердце моем неизгладим на веки веков.

Еще одна последняя черта: без нее этот образ был бы слишком неполон.

Говоря по поводу Савинкова о значении одинокой творческой личности в судьбах народа, я сослался на него самого, Иосифа Пилсудского.

— Вы создали Польшу, вы могли бы сказать: Польша — это я.

— Вы думаете? — усмехнулся он горькой усмешкой. — А знаете, что бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще борюсь с Польшей, что я против Польши. Я человек достаточно сильный, но иногда и я слабее...

Вдруг опять, как в первую минуту свидания, на меня повеяло «веяние тихого ветра». Только теперь, когда он говорил о своей слабости, я почувствовал, как он силен не своею силою: «В немощи сила Моя совершается». Только теперь я почувствовал, что передо мной избранник Божий.

Да, я говорю это всем, так же, как ему сказал! О, я знаю, как трудно и страшно это сказать о человеке, особенно в наши дни, когда «великие люди», «избранники» — чьи? — Ленины, Троцкие! Я знаю, какие горящие угли соберу на свою голову, какие насмешки над моей ребяческой наивностью, но я все-таки скажу: Ленины, Троцкие — не великие люди, а великие ничтожества.

Человек — мера вещей. А мера человека что? Если не Бог, то диавол. Подражание Богу — творчество; разрушение — подражание диаволу. Мы уже давно забыли Бога и мерим человека мерой диавола. По этой мере велик венчанный шут, сжигающий Рим; велик Чингисхан со своей дикою ордою или «с телеграфами, телефонами»; велик пьяный матрос, взрывающий окурком пороховой погреб. Но, по мере Божьей, это все — ничтожество; по мере Божьей, уничтожить солнце — меньшее дело, чем сотворить атом, разрушить мир — меньшее дело, чем былинку вырастить. Мы забыли Бога и разучились поклоняться героям, богоявлениям в человечестве, «существам реальнейшим» — вот почему поклонились мы этим двум великим ничтожествам, Троцкому и Ленину, — великому Прохвосту и великому Скопцу.

Вот наша казнь, наш стыд — стыд всей Европы, всего христианского человечества.

Но если даже весь мир поклонится диаволу, прославит царство зверя: «Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» — то не он, не Иосиф Пилсудский. От этого стыда избавит он Польшу и, может быть, избавит мир. Вот для чего он избран Богом.

Уходя от него, я хотел обратиться к полякам с такими словами: Как вы счастливы! Как должны вам завидовать все другие народы! Как возлюбил Господь Польшу, свою прекрасную Дочь, терном венчанную, на кресте распятую, что в такие дни послал ей такого Вождя! Я среди вас — чужеземец, но не чужой, и я говорю вам: любите его. Я знаю, что вы его любите. Но еще больше любите. О, пусть никогда не повторяются такие минуты, когда он говорил: «Я слабее; я — против Польши». Помните: вы можете все потерять и снова найти — хлеб, золото, оружие, обширные земли, чудесные гавани, сокровища искусств, наук и даже новую славу, но не второго Иосифа Пилсудского. Потеряв его, вы все потеряете и уже не найдете. Не спорьте о том, кто больше, вы все или он один. Разве вы знаете, кто кого создал, вы — его, или он — вас? Вы все подымаете его, как волна подымает плывущего; а он держит вас, как согбенная кариятида держит великий дом.

Страшные, черные дни наступают и уже наступили. Разве это не чернота последнего ужаса, стыда последнего, что вождь великого народа, продавая часть свою и чужую, торгуется с ничтоженным диаволом как разбойник с разбойником — над трупом зарезанного, как сводня с потаскухою — над горстью золота? Сегодня черно, страшно, а завтра будет еще страшнее, чернее. Вот идут на вас, на всю Европу несметные полчища варваров; идет нечто подобное царству Антихриста. Не думайте, что я говорю вам пустые слова, пугаю вас детскими сказками: это могут думать другие народы, но не вы, поляки. Я говорю вам то же, что говорили ваши пророки — три огненных А, начертанных во мраке перстом Божиим для вашего спасения: Август Чешковский, Андрей Товянский, Адам Мицкевич. В эти черные дни не забывайте ваших пророков. Я говорю вам то же, что говорили они: не думайте, что Польша, как Христос, воскресла и уже не умрет. Христос — в Польше, но Польша — не Христос. Для людей и для народов крестный путь на земле не кончается; от распятия к воскресенью и к распятию новому, пока тайна Божья не совершится не только в каждом народе, но и во всем человечестве.

Да, не пустые слова то, что я вам говорю вместе с вашими пророками: идет

на весь христианский мир нечто подобное царству Антихриста. И последний оплот от него — Польша; последний бой с ним дан будет здесь.

Соединитесь же все, как один человек, в этом бою вокруг вашего великого вождя, избранника Божьего Иосифа Пилсудского. Соедините ваши сердца, как мечи, и вознесите его на такую высоту, чтобы все народы увидели его, как вы его видите, узнали его, как вы его знаете.

Если вы это сделаете, то спасете Польшу, и, может быть, спасете мир.

САВИНКОВ И ВРАНГЕЛЬ³

Южный фронт и западный, Врангель и Савинков — две руки. Две руки к одному горлу тянутся, горлу Ленина-Троцкого. Соединятся руки на горле и задушат. Соединятся ли?

Дорого бы дали большевики за голову Савинкова, за голову Врангеля; но еще дороже — за то, чтобы они разъединились. Разъединятся руки, ослабевут и не задушат. Разъединение Савинкова и Врангеля — гибель одного из них или обоих — победа легчайшая для Ленина-Троцкого.

Савинков подчинился Врангелю. Врангель принял подчинение Савинкова. Но оба подчинены одной высшей воле — воле России, и потому оба свободны. Свободны и связаны, как две руки на одном теле — теле России, — восстающего из гроба Лазаря. Пока руки не свободны, связаны пеленами смертными, ничего не могут они сделать, падают, бессильные. Надо освободить руки, снять пелены смертные с Лазаря, чтобы он вышел из гроба.

Сколько бы ни подчинялся Врангелю Савинков, — в одной точке он свободен, как левая рука свободна от правой. Что ж это за точка? Где она?

Прежде всего, конечно, во времени. Когда еще не было Врангеля, — был Савинков. До представителя Колчака и Деникина, до военного министра Временного правительства, был революционер-террорист, член боевой организации, друг Сазонова и Каляева, приговоренный к виселице и чудом спасшийся, — великий русский патриот Борис Савинков.

Это во времени, но и в пространстве — та же точка свободы.

Врангель стоит на русский земле. Фронт его — внутренний. И в этом сила его, для всех очевидная. Без внутреннего фронта, без русской земли России освободить нельзя.

Савинков стоит на чужой земле. Фронт его — внешний. И в этом слабость его, тоже для всех очевидная. Но то, что кажется слабостью, не может ли сделаться силою?

Врангель получил власть, как бы родился от Деникина. От кого же родился Савинков? От Врангеля? Нет, не от Врангеля.

Произошло самозарождение, самозачатие, чудесное, неисповедимое, как всякое рождение и зачатие.

Польша — «враг России, исконный и вековечный» — взлелеяла русское дело, освобождение России. Польша приняла, как родная земля, великого русского патриота Савинкова. Разве это не чудо? Разве не чудо, что Савинков стоит на чужой земле Польши как на родной?

Союз Польши и России — не только русско-польское дело, но и всеславянское. А может быть, что-то еще большее.

Сила большевизма — сила III Интернационала — международная, всемирная. Фронт большевизма — всемирный. Красный Интернационал можно победить только Интернационалом Белым. Не «желтым» и не «белогвардейским», как большевики ругаются, а именно Белым.

Если красное знамя в руках большевиков сделалось знаменем свободоубийства, братоубийства, если надо убелить красное знамя от всей пролитой крови, то белое — и есть это убеление; белое знамя сделалось знаменем революционной

свободы, освобождения русского и всемирного.

Вот почему великий революционер Борис Савинков, не изменяя, а служа Революции, так бесстрашно поднял Белое знамя на Красное.

Польша — Европа, а Европа — весь мир. Стоя на польской земле, Савинков стоит на земле европейской, всемирной. И чужая земля — родная под ним, ибо, по слову Достоевского, тоже великого русского патриота: «У нас, русских, две родины — наша Русь и Европа». Наша Русь и весь мир.

Кажущаяся слабость Савинкова есть действительная сила его, безземность — всемирность. Силы этой нет у Врангеля; есть у него иная сила, русская; но этой нет. Тут Врангель и Савинков противоположны, как левая рука противоположна правой, не для того, чтобы мешать, а чтобы помогать друг другу.

Таковы две точки, в которых Савинков и Врангель свободны и связаны; одна — в пространстве, другая — во времени. А третья — в духе.

«Дух Врангеля — черносотенный», утверждают враги его. Он мог бы им возразить своей демократической программой. Но программа — слова, а слова получают убедительность неотразимую, только воплощаясь в дела и в лица. Слова свои Врангель еще не успел воплотить в дела, а лица его ближайших и отдаленных, случайных и не случайных сотрудников, от епископа Вениамина и Бориса Суворина до Кривошеина и Гурко, отнюдь не освещают демократическим светом лицо самого Врангеля.

Лицо Савинкова говорит само за себя и в чужом свете не нуждается. Кто говорит: «Савинков», — говорит: «русская революция», — та самая, которая началась свержением Романовых и кончится свержением большевиков. Этого революционного света нет на лице Врангеля. Иной свет на нем — свет России царской. Я это говорю ему не в укор: надо же, наконец, вспомнить, что за царской Россией — не только Николай II и Гришка Распутин, но и Пушкин и Петр. Кровь и кровная связь неразрывно связывают генерала Врангеля с царской Россией. Террорист Савинков эту связь порвал: от России царской отделился чертою кровавою. И никто ее не сотрет; никто не поверит большевикам, сколько бы ни обвиняли они Савинкова в монархических замыслах.

Если освобождение России должно быть революционным, — концом революции февральско-мартовской, прерванной октябрьскою контрреволюцией; если будущая Россия есть Россия не первая, царская, и не вторая, большевистская, а третья, свободная, то Савинков — человек Третьей России. И в этом — опять-таки сила его, которой нет у Врангеля.

Мы не знаем, что будет; будет ли жизнью поставлен вопрос: Врангель или Савинков? Но мы не хотим сами ставить этот вопрос. Мы хотим не разделить, а соединить две руки, протянутые к одному горлу Ленина-Троцкого. Вот почему мы не спрашиваем: Савинков или Врангель? Мы говорим: Врангель и Савинков.

«Кто потеряет душу свою, — обретет ее». Что это значит? Умереть, отдать жизнь за любовь? Нет, не только жизнь: душа — больше, чем жизнь. Душа — лицо человека, личность его, то особенное, единственное, что отделяет человека от всех других людей. Каждый из нас любит Россию по-своему, своею любовью, личною, отдельно. Пожертвовать общей любви этою отдельною любовью и значит потерять душу свою, чтобы вновь обрести ее в душе России.

Есть много людей, готовых отдать жизнь за отечество; но людей, готовых потерять за него душу свою, очень немного. А такие люди и нужны сейчас

России.

Я не имею чести знать лично генерала Врангеля. Савинкова я знаю давно и верю, что он один из немногих русских людей, готовых потерять душу свою за Россию.